

Фридрих Горенштейн

Домашние ангелы

Элегия

Памяти моей кошки Кристи и кота Криса.
Долгой жизни сына Дани

Я видел смерть; она в молчанье села
У мирного порогу моего.

А. С. Пушкин. «Элегия»

Хочу объяснить, почему в это маленькое лирическое стихотворение в прозе, проникнутое грустным настроением, также включил наивный, смешной фольклорный материал алмазиков-самородков моего сына Дани в его ангельском возрасте. Звери, особенно домашние животные, близки к ангельской логике детей, но до самой старости своей — если они до старости доживают — так и не надевают вериг разума. Их мышление скорее напоминает не труд, а игру. Над ребенком, пока он пребывает в ангельском возрасте, так же как и над зверем, не висит проклятие Отца-Создателя в поте лица добывать хлеб свой, и потому им дано счастье играть наподобие алмаза, рассеивая свет вокруг себя. Нам с веригами, которым недоступна такая игра, приятно и радостно разрешение этих наших домашних ангелов, двуногих и четвероногих, принять в их игре участие, хотя бы в качестве ассистента или наблюдателя. Даже спящий ребенок или зверь рассеивают свет. Даже когда домашние ангелы сердятся, капризничают, кусаются, свет этот не исчезает. Потому так пусто и тускло становится в доме, когда свет этот меркнет, потому так особенно тяжелы становятся вериги разума, не хочется ни с кем себе подобным говорить, а разумные слова утешения — лишь соль на рану. И становится понятно, что речь — не награда, а наказание, как труд. «В поте лица твоего будешь есть хлеб», — сказал Родитель. В поте лица надел человек на себя вериги разума и узко стягивающие обручи логики. В Эдеме человек был свободен и от разума, и от логики. Тяжесть разума и узы логики удручают еще более, чем трудовой «пот лица». И если есть от этих вериг и этих уз какое-нибудь облегчение, то оно исходит от домашних ангелов, двуногих и четвероногих.

Первое познание, которое получили Адам и Ева от дерева познания добра и зла, — это познание своей наготы. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания». Зверь, так же и домашний, спокойно без стыда ходит нагой, как и ребенок в раннем младенчестве не стыдится натуральной наготы. Конечно, двуногий домашний ангел, в отличие от четвероногого, постепенно начинает идти родительским путем грехопадения, обретения веры и уз. Однако где-то около трех лет, обретя речь, он все еще сохраняет в этой речи светосияние, алмазную натуральную чистоту, и доля труда еще незначительна, а доля игры велика. В то же время пусть небольшая, но доля труда в мышлении ребенка дает и нам, трудящимся и обвешанным веригами разума, приобщиться к светосиянию ребячьего мышления и через это светосияние хоть как-то приблизиться к умственной игре наших четвероногих домашних ангелов.

Удрученные веригами разума и скованные узами логики, по крайней мере, те, кому удастся познание «пота лица» в его самом простом, примитивном виде, обнаруживают

вне Божьего проклятия, обозначившего смысл человеческого существования поле Эдема, бессмыслие и мечутся в поисках смысла вне «пота лица». Они проламывают себе головы философскими камнями разных теорий или просто принимают снотворные таблетки, чтобы убежать от бессмыслия жизни если не в смерть, то в сон. Для зверя, как и для ребенка, смысл жизни — жить. Поэтому так печально, когда этот смысл теряется.

Но ребенок теряет его, вырабатывая логику взрослости и идя путем грехопадения, а зверь — только вместе с жизнью. Звери приходят и уходят домашними ангелочками, и пустоту, создавшуюся после их ухода, невозможно заполнить ничем, их потеря невозможна. Конечно, возможны новые дети и новые звери. Однако это уж проблема библейского Иова, так волновавшая и приводившая к богоборческим настроениям Достоевского. Это спор на пари меж Богом и сатаной о богобоязни человека и земных узах. Будет ли человек по-прежнему славить Бога, если отнять у него все, в том числе и детей. Этот спор выиграл Бог. «Господь дал, Господь и взял... да будет имя Господне благословенно!» За такое богобоязненное терпение Иов получил новых детей.

Не знаю, может, сказывается мой возраст, но у меня, пожалуй, спор мог бы выиграть сатана. В данном случае мне ближе богоборческая горечь Достоевского, чем терпеливая проповедь Иова. По крайней мере, отнят у меня был четвероногий домашний ангел, который, в отличие от предыдущей ангелицы, был далеко не ангельского характера... Отнят был молодым красавцем, тогда как ангелица уже тяжело больной старушкой. Тогда в горечи потери, не как Иов славит Бога, а как старый атеист Достоевский, хотел поставить под сомнение справедливость сотворенного Богом мира. Большеголовый, он был полон мыслей, которые хранил при себе, и когда, может быть, по дурной своей профессиональной привычке, я доверяю интимное бумаге, делаю личное публичным, только влажность глаз и сухость сердца несколько оправдывают мою несдержанность. Я понимаю, что по этим строкам могут скользить и пустые глаза, чуждые глаза, насмешливо-глупые глаза. Это цена публичной профессии. Однако эти глаза — пустые, чужие, насмешливо-глупые, даже враждебные — так и уйдут, ничего не взяв, ибо у их владельцев нет тех органов, которыми можно взять принадлежащие нам чувства. Все останется нам: и чувства, и слезные строки. Слезы и смех, потому что смеховой мир близок к слезному. Недаром ведь смеются до слез или смеются сквозь слезы. Мир домашних ангелов, мир детей и зверей — это мир карнавальный. Пока есть в доме маленькие дети, пока есть в доме звери, мы живем среди карнавала. Однако не того людского маскарадного карнавала, который связан с балаганной комикой и цирком, а карнавала серьезного и философского. Если еще Платон считал собаку самым философским животным в мире, а Рабле призывает на примере такой собаки, которая с благословением разгрызает кость ради капельки мозга, быть мудрым в общении с жизнью, то мне на примере общения с моими домашними ангелами остается лишь добавить, что мир кошачий отличается от мира собачьего все-таки некоторой повернутостью в общении с человеком. В собачьем мире человек более господин, стремление к общению исходит более от собаки, тогда как в кошачьем мире наоборот, и тем кошачий мир ближе к миру ребячьему, с его настойчивым стремлением к независимости и самостоятельности.

Литературовед Бахтин, исследователь карнавальности в литературе и жизни, привлекая меня издавна, в то же время вызывал раздражение, отраженное в старых блокнотах. Раздражение чрезмерное и, наверно, несправедливое, не всегда для меня ясное. Теперь же, после определенного моего кошачьего опыта, мне кажется, я не принимаю некоторые моменты в Бахтине, как и некоторые моменты в Достоевском, который для

Бахтина вершина и мерило всех проблем, которых он касается, по той же причине, по которой я не люблю, а вернее, жалею дрессированных зверей. Мне ближе мир ребенка и зверя, схваченный не относительно и незавершенно в идеях Бахтина и Достоевского, а абсолютная, фольклорная, лубочная завершенность Евангелия. Если бы кот Крис мог прочесть Рабле, то он мог бы выразиться, как Пантагрюэль, что настоящая проповедь Евангелия должна совершаться чисто, просто и полностью, то есть, как я понимаю, без философских комментариев, фольклорно и лубочно. Ангелица Крестя была святая, она ушла из жизни тихо. А кот Крис был богоборец, он боролся со смертью. При жизни, мне кажется, что умный Крис, если бы он умел говорить, высказывался и задавал бы вопросы, как ребенок в ангельском возрасте. И теперь, когда тяжкие дни потери ушли в прошлое, мне хочется дивиться его голосу, произнесенному устами Дани, моего сына, в надежде, что эти разговоры успокоят.

«Детский рот жует свою мякину», — писал Мандельштам в одном из последних предсмертных стихов. Мякина детских слов всегда серьезно смеховая, объединенная с карнавальным фольклором. Карнавал же фольклорен, как пишет Бахтин, и опирается на опыт, правда, еще недостаточно зрелый, и на свободный вымысел. Я по своей плюшкинской привычке собираю издавна в блокноты если не все, то многое, что под руку попадется. Много там хлама накопилось за долгие эти годы. Но есть среди хлама и большие для меня ценности. К таким ценностям и «мякине детских слов» относятся необработанные Данины алмазики. Вот эти ангельские разговоры.

Год 83-й. Дани два года и восемь месяцев. Гуляю с ним. Вдруг он останавливается и нечто долго внимательно рассматривает у себя под ногами. На земле лежит грязный, затоптанный пакет.

— Что это? — спрашивает у меня.

— Не знаю. Какой-то грязный, затоптанный пакет.

Даня какое-то время молчит, размышляя. Потом поднимает голову и уверенно мне объясняет:

— Это бандиты конфеты кушали.

Кушает овсяную кашу. Кушает, кушает и захныкал.

— Что такое, Данечка?

— Каша не кончается.

— А что ты хочешь кушать?

— Сафоль.

Так он фасоль называл.

Я сижу пишу. Даня:

— Мама, тебе надо купить очки, чтобы ты работала, как папа.

Играет. Одна игрушка падает со стола.

— Подними игрушку, Данечка!

— Нет, он умер. Упай.

Смотрит по телевизору мультфильм об индейцах.

— Мама, я хочу быть индейцем.

— Нельзя, Данечка, индейцем надо родиться.

Ко мне:

— Папа, ты хочешь быть индейцем?

— Нельзя, индейцем надо родиться.

— Мама, папа хочет быть индейцем.

— Нельзя.

— Мама, знаешь, кем я хочу быть, когда вырасту? Леопардом.

Даня немного подрос. Смотрит на календарь.

— Какое сегодня число, Данечка?

— Сегодня четырнадцатое число.

Смотрит по телевизору итальянский фильм «Они шли за звездой». Мечи, кольчуги.

— Папа, знаешь, где такая жизнь, как по телевизору? В Америке.

Играется слоником и динозавром.

— Это друзья? — спрашиваю я.

— Нет, они не виделись. Этот, — показывает на слоника, — сейчас уже, а этот, — показывает на динозавра, — раньше.

Смотрит по телевизору развалины Древнего Рима и Греции.

— Это все было под песком.

— Откуда ты знаешь, Данечка?

— Песок у этих людей был. У них не было ни кофт, ни штанов. У них были только платки. Они были в платки завернуты.

Даня еще подросток. Год 1985-й. Одевается сам перед прогулкой. Возится с курткой. То в один рукав, то в другой. В конце концов куртка оказалась надетой задом наперед. Зад спереди, застежка-молния сзади.

— Что ты, Данечка, делаешь?

Сердито:

— Куртку надеваю, не видишь?

Год 1986-й начался с того, что Даня съехал на санках с горы в Пройзен-парке и ударился о дерево. Сломал левую ключицу. Чудом не ударился головой. Бог помог. Его возили к хирургу. Мать поломала ноготь, морщится.

Даня:

— Ты должна пойти к хирургу и сказать, что поломала ноготь.

Даня уже учится.

— Папа, смотри — это буква «зибен»

Считает по-немецки до двенадцати.

После двенадцати:

— Айн унд цванциг... фир унд цванциг.

Дане по ошибке разрешили смотреть фантастику для взрослых, и он так испугался космической черной дыры, что не мог спать, и матери пришлось сидеть возле него, пока не заснет. Причем несколько вечеров подряд.

— А когда тебе минет двадцать лет, тоже надо будет возле тебя сидеть?

— В двадцать лет я уже про черную дыру забуду.

Даня стал христианином из чисто утилитарных соображений. Его мать такая же верующая христианка, как я ортодоксальный еврей. Но она пожелала его крестить в кирхе Святого Людвига возле нашего дома. Я не возражал. Я спокойно отношусь к обряду, ибо обряд вообще утилитарен и к вере имеет такое же отношение, как обертка к товару. Во времена Стены и Западного Берлина в церкви Святого Людвига, французского короля, французы устраивали свои праздники. Военный конный конвой в красочных костюмах выстраивался перед церковью. Из французской оккупационной зоны приезжали на торжественную службу. Приезжали французский комендант и прочие начальники. Оркестр играл «Марсельезу». Зеваки смотрели. В этой церкви крестили Даню. Это было сделано для того, чтобы Даня мог поступить в католическую школу рядом с нашим домом на Людвиг-Кирх-плац, которая считается хорошей. Я присутствовал при крещении. Священник, узнав, что мы из России, сказал мне, что он немного говорит по-русски, поскольку жил раньше в Восточном Берлине. Он писал там реферат-абитур по книге Горького «Мать» и по книге Островского «Как закалялась сталь». Вот какой священник крестил Даню.

Даня рассматривает картинки — детское иллюстрированное издание «Жизни животных» Брема.

— Мама, der Lowe может летать и плавать?

— Нет.

— Schade! Жалко.

Мне:

— Это хищник. Он не виноват. Его Бог таким сделал. Бог виноват.

Кушает жареную курятину.

— А куриную косточку можно в землю посадить?

— А что вырастет, Данечка?

— Курочка.

Двадцать пять лет я жил с кошками. Жил кошачьей жизнью. Эта жизнь сильно повлияла на меня. Кажется, у Флеминга: «Никогда не говори „никогда“». Однако в обозримом будущем я буду кошачий сирота: у меня больше нет сил. Велико мое грехопадение. Велика моя вина, и теперь с особой силой через личную вину чувствую вину человечества за жертвенную роль зверя в построении человеческой цивилизации.

Этот грех на всех, даже на детях. Это самый страшный грех после съеденного в Эдеме яблока. На зверях двуногие совершенствовали свою жестокость. Японцы, этот технократический авангард падшего человечества, уже готовятся к жизни без зверей. Придумали электронных домашних животных с электронными ласками. Скоро они придумают электронного Бога и электронных ангелов. Может быть, и электронных детей. Звери и растения протестуют против этого порядка своими болезнями и смертью, дети — своими наивными и смешными вопросами,

Даня смотрит на географическую карту. Ему объясняют: «Это земля, это море». «А где небо?» — спрашивает Даня.

Вот именно, где небо? Смешные детские протесты.

Даня начал изучать цифры. Мать за что-то сердится на него.

— Я все за тебя делаю. Ты сам ничего не делаешь. Ты ноль.

— А ты один, — отвечает Даня.

— Один больше ноля, — говорит мать.

— Тогда ты ноль, я один...

Дане восемь с половиной лет. Захотел написать рассказ. Все приготовил: бумагу, ручку. Тему придумал. «Раумшифф» — «Космический корабль». Но написал только одну фразу по-немецки: “Es fliegt ein Raumschiff” — летит космический корабль. Больше ничего не написал. Спросил мать:

— Почему я не могу, а папа пишет?

— Папа, перед тем как писать, пять-шесть книг чужих читает. А Даня не читает.

Мать хотела убедить, чтобы он читал, а не смотрел телевизор. Даня читал, как все дети, американизированно — «Лаки Лук», «Звездные войны», все хуже говорил по-русски, все лучше по-немецки. Однако все-таки говорил и даже писал. На день рождения он подарил мне блокнот, прикрепив к нему бумажку с надписью прыгающими печатными буквами: «Для папа».

Даня вырос и полюбил Кафку. Сам полюбил. Никто его к этому не принуждал. Я в его восемнадцатилетнем возрасте о Кафке даже не слышал. Прочел и рассказы Достоевского, прочел некоторые мои книги. По-немецки, конечно. На день моего рождения подарил мне Кафку по-русски — «Дневники и письма». Не думаю, что смотрит по телевизору глупую американщину — «Звездные войны» и прочее. Мы теперь не живем вместе. Тогда смотрел, собирал картинки с Лаки Луком и все еще играл своими игрушками.

Как-то, рассердившись, решил уйти к другим родителям. Оделся, взял свой чемоданчик, сумочку с картинками и сказал:

— А игрушки я оставляю. Если у вас будет другой ребенок, пусть он играет моими игрушками.

Он не ушел тогда. Он ушел на несколько лет позже и то не по своей воле. Впрочем признаюсь, я не жалею. Семья стала плохой, а плохую семью надо разрушать. Плохие семьи калечат детей, приучают их к лжи и даже еще хуже. Наши отношения испортились в Данином подростковом возрасте. Даня преодолел, и тут скорее его, а не моя заслуга. Сколько в этом возрасте падших ангелов.

Менее всего я хочу сейчас быть сентиментальным. И не потому, что я не люблю сентимент. Старый добрый друг Голливуд, святочные рассказы... Достоевский: «Мальчик у Христа на елке»: Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их. — Это «Христова елка», — отвечают они ему. И т. д.

Нет, для истинной скорби это слишком мармеладно. Видел я в старом немецком журнале святочную картинку. Бедная бездомная девочка сидит на снегу, прислонившись спиной к фонарю. Возле нее какие-то обломки детских игрушек, в руке сухая палка вместо елки, на ногах стоптанные башмаки, вдали горят огни теплых квартир, ей недоступных. Но с неба спускается мальчик в ночной рубашке, босиком, с нимбом вокруг головы исходящими лучами. И выше силуэт женщины в хитоне с крыльями и несколько ангелов с крыльями и надпись: “Cristkinds Weckruf” — зов христианского ребенка. Не по этой ли картиночке написал свой святочный рассказ Достоевский?

«На то я и романист, чтоб выдумывать», — заканчивает он. «Но я романист, и кажется, одну «историю» сам сочинил». Наверное, так и есть. Но сентиментальность святочных этих историй всегда одна и та же, они похожи друг на друга, потому что они перекликаются между собой чувствами, в которых вместо скорби дутый пафос. Такие истории бедных голодных детей хороши после сытного ужина, после кофе хочется еще чего-нибудь сладенького, даже желательно немного поплакать.

Однако сентиментальные слезы быстро высыхают. Эти слезы выглядят смешно. Для подлинной же скорби такие истории кощунственны. Нет, мне не сентимент нужен, а эпос. То, что по-немецки называется “Herzentod”, в прямом переводе — смерть сердца, по-русски — сердечная тоска.

Дети и звери — домашние ангелы. Но дети вырастают и перестают быть детьми, а звери остаются домашними ангелами до конца.

Даня родился 13 августа 1980 года в 22 часа 25 минут. Вес три и семь десятых килограмма, рост — 52 сантиметра. Сейчас его рост 1 метр 90 сантиметров. Долгой ему жизни и хороших ангелов-хранителей.

Ангелица Крестя появилась у меня в трехмесячном возрасте в 1975 году. Умерла 15 декабря 1990 года. Крис родился 6 апреля в Берлине, умер в июне 1999 года около полуночи, как богоборец. Крестя умерла тихо во сне. Крис лежал в углу неподвижно,

бессильно. Но вдруг встал, подошел к двери и у входа умер. Куда он хотел уйти — не знаю.

Пусть эта маленькая элегия будет им маленьким мавзолеем, который я буду посещать, пока жив.

19.6.1999 г.

P. S. Я написал это в печали и спрятал на более чем два года. Теперь эта печаль посветлела.

Слава Богу. Святые печали со временем светлеют. Теперь я решился достать рукопись, кое-что в ней дописал, дополнил, конечно. С увлажненными глазами.

Дополнено 27.9.2001 г.

Продиктовано 8.02.2002 г.